

## РАСКАЗЫ

### РУБИНШТЕЙН

«Краски, линии, объемы, тела, предметы, множества — все проходит сквозь зрительный нерв, чтобы оформиться в точное отражение вещественного мира, мира безжалостного и беспощадного к твоему существованию. Он обманывает тебя, выстраивая удобную ему схему расположений, при этом может в любой момент изменить ее так, что ты, оторопело озираясь, будешь бродить по темным комнатам в поисках потерянных ключей или носков, улетевших под кровать», — распаляя воображение, думал он в школьном коридоре, и тем сильнее ликовал, чем более угрюмой и безысходной рисовалась картина видимого мира. «Ведь я-то, — бормотал, сглатывая слюну, — победил!»

Он родился в канун перестройки, когда привычная для советской интеллигенции картина мира начала меняться. Все его родные и близкие являлись потомственными докторами наук, доцентами, на худой конец — школьными учителями. С молоком матери Витя впитал острую ненависть к любому проявлению тоталитарности. Советский Союз с его милитаризмом и обязаловкой считался в семье воплощением вселенского зла. Отец, рано облысевший, с пронзительными глазами, красными от постоянного чтения, часто говорил: «Жить в этой так называемой счастливой стране нельзя. Как подрастешь, поедешь в Израиль, к дяде Рувиму». Но поездка не состоялась. К тому моменту, как Витя подрос, всю катилась перестройка, цвела организованная преступность, и дядя, средней руки бизнесмен, будучи по делам в России, погиб во время перестрелки.

Отец видел, как социализм стремительно просачивается сквозь пальцы и больше не насыщает его застарелую ненависть. Сказать, что он был растерян, — мало, он выглядел огорошенным, оглушенным. Они, бледные, часто оторопело переглядывались с матерью, ничего не понимая в надвинувшейся действительности. Если СССР был выучен назубок и брезгливо отброшен как непригодный для жизни, то новый мир по-настоящему пугал. Все в нем казалось иным, нечеловеческим, жутким: и выросший ассортимент товаров, и бывшие товарищи, которые превратились в типов с бегающими глазками и непонятными намерениями, и бессмысленная свобода слова, вылившаяся в печатание похабной порнографической гнуси. Они суетились, делали поспешные выводы, строили грандиозные планы, но выводы подводили, а планы рушились, как карточные домики. От отчаяния, от неумения справиться с валом сырой, не очищенной от посторонних примесей демократии одним прекрасным утром они умчались во Францию, оставив «взрослого, самостоятельного» ребенка пожилой нянечке.

---

Виталий Дамирович Аширов — поэт, прозаик. Родился в г. Перми в 1982 году. Окончил Литературный институт, семинар прозы профессора С. П. Толкачова. Работал копирайтером, рерайтером и удаленным редактором. Публиковался в журналах «Новая реальность», «Топос», «Опустошитель». Проживает в Перми.

Витя заканчивал девятый и не вылезал из школьной библиотеки, поэтому социальные изменения затронули его гораздо меньше, нежели родителей. Вечерами глядя на толпы спешащих людей, на древнюю Москву, озаренную огнями рекламных вывесок, он понимал, что никакие перестройки не способны уничтожить тоталитаризм. Уже тогда Витя осознал, что нельзя просто взять и уничтожить его, ибо находится он не в структурах власти, не в безумных законах, составленных опьяневшими от вседозволенности диктаторами, и даже не в человеческой психике, а в устройстве самой вселенной, в непреклонности силы тяжести, в жестокости солнечных лучей, в глухом стуке дождевых капель по жестяной кровле.

Жизнь юноши, открывшего страшный закон бытия, делалась день ото дня невыносимей. Впитанная с детства ненависть к тоталитарности не позволяла любоваться закатами и рассветами, вдыхать полной грудью влажный весенний воздух, встречаться с девушками. После уроков он торопился домой и в комнате с зашторенными окнами читал что попало, лишь бы не быть «жертвой режима». Но вскоре и книги перестали спасать. Он понял, что тексты навязывают свободному воображению жестко сконструированные образы, и принялся отчаянно обороняться.

Вместо того чтобы послушно представлять то, о чем пишет автор, Витя рисовал себе совершенно иные картины. Воображение сперва не подчинялось, бунтовало, однако через несколько лет изнурительных тренировок юноша обуздал его и спокойно читал большие тома, не боясь быть захваченным чужой волей. Например, фразу «Она вошла в спальню» он визуализировал как «Ключи выпали из кармана». Дальнейшее предложение воображалось так, чтобы по смыслу совпало с отрывком про ключи. По такой схеме изменялся весь текст. Пусть в его восприятии «Портрет Дориана Грея» становился шпионским детективом, а «Война и мир» оказывались романом об инопланетном вторжении, пусть в новом прочтении «Дориан Грей» превращался в описания сифилитических язв, а толстовская эпопея кишела пустыми страницами, Витя мог смело сказать: «Я свободен».

Юноша научился по-своему представлять любую книгу, однако понял, что избавился от цепей лишь отчасти, поскольку главный враг — видимый мир — наличествовал постоянно, диктуя жестокие законы и ставя препоны воображению. Витя не сдался и направил отчаянные усилия на то, чтобы не поддаваться строгим приказам, заставляющим видеть, слышать и чувствовать объективно присутствующие предметы. Тотальность объективности обойти оказалось сложно, и дело не в том, что воображение не справлялось, напротив, тренированная фантазия смело подсовывала какие угодно образы вместо видимых вещей, но люди, послушные рабы системы, так обустроили реальность, что без взаимодействия с их представлениями о ней выжить было невозможно.

После основательного обдумывания юноша нашел способ синхронизации радикально разных миров — его и человеческого. Кассиршу в магазине он воображал елкой, на которую нужно повесить рождественские подарки (передача покупок равнялась развешиванию); открытую дверь в подъезде своего дома — промежутком между двумя тучными старушками, куда необходимо проникнуть, пока они не сдвинулись плотно, иначе слипнутся навсегда; нажатие пальца на выключатель виделось внезапным рывком стального фаллоса в толщу пламени, где колебались разноцветные окружности (то есть, помимо использования фактуры привычной действительности, обращался к абстракциям).

Пришлось поступиться основными принципами свободного духа и совмещать визуализации с объективными формами. Это, как надеялся Витя, было временным выходом до тех пор, пока не найден способ обходиться без пищи, дыхания и кры-

ши над головой. В том, что он найдется, юноша не сомневался. Самоубийство Витя считал победой диктатуры над свободной волей и отрицал его.

Итак, мир преобразился в параллельный, загадочный, удивительный. В то время как обыватели понуро брели по мокрому тротуару, он прыгал по огромным кувшинкам на озере и вместо рева машин слышал крики испуганных косуль. Он ходил не в школу, а по выбору: иногда в гигантскую корову, чьи кровавые внутренности чмокали под ботинками, порой в морской порт, где юнга в вылинявшей тельняшке радостно приветствовал его. Класс раздувался в шарообразную пещеру, полную разноцветных мячиков; рука учительницы трансформировалась в экскаватор; теоремы превращались в загнанных лошадей и хрипели под кнутом погонщика. Он научился изменять не только предметы, но и ситуации и даже абстрактные понятия. Приближение однокашника и часть беседы с ним становились неспешным разворачиванием рулона обоев; среда была грохочущей печатной машинкой; полтора часа в поликлинике делались золотой полутораметровой цепью на шее кокетливой великанши; музейные лепные ангелы ползли червями в гнилой картофелине.

Реальность больше не владела восприятием.

Когда Витя уже праздновал победу (школа окончена, второй курс инъяза), в институте прокатилась волна влюбленностей. Теряли голову все: от лидеров коллектива до забитых тихонь. Влюблялись в кого попало: от одноклассниц с модельной внешностью до сутулой тридцатилетней уборщицы. Общее поветрие не миновало и Витю, но признать наличие притягательного объекта за пределами зоны воображаемого означало полный крах защиты и торжество тоталитаризма. Поэтому он придумал девушку и, дабы создание разума обезопасить от вторжения реального, сделал ее близкой себе по духу.

Надежда, дочь русских евреев, пугливо улепетнувших в Израиль, обладала безграничным воображением и ненавидела диктатуру реального. Она прошла духовный путь, почти идентичный с путем Вити, но вместо того, чтобы произвольно изменять существующее, удвоила каждый видимый объект. Ее мир был одновременно в двух экземплярах: две руки подносили два карандаша к двум тетрадам и записывали два слова; две собаки бросались за двумя кошками (каждый зверь имел две головы и восемь лап); два солнца освещали двух постовых на перекрестках; четыре глаза, подслеповато шурясь, смотрели из-под четырех очков.

Иначе говоря, девушка была сокровищем, и Витя — он желал ее страстно, с подростковой отчаянностью — не мог представить Надю безличным потоком. Однако если воспринимать девушку как самостоятельный объект, то вокруг нее моментально возникала реальность, и годами выстраиваемая система ломалась.

Серьезно все обдумав, юноша решил вернуть миру обычные формы, но чтобы не стать его рабом, мысленно сдвинул вещи на метр. Конечно, возникли определенные трудности. В ресторане он не мог взять вилку, потому что шарил в метре от нее; бокал с шампанским проливался в метре от губ; попытку сесть заканчивались неудачей; спал на полу, потому что не мог лечь на смещенную кровать. Ему помогали, его поправляли, находились и такие, кто вызывал санитаров психиатрической клиники, но Витя всегда заблаговременно ретировался, ибо ни на минуту не забывал, по каким жестоким законам действует мир.

Они познакомились в библиотеке и тотчас сошлись. Его раздвоенность в ее восприятии совпала со смещением мира на метр: вечно ускользающего Витю встречала копия девушки. Ему было сложно приноровиться к ее манере речи: каждое слово Надя произносила дважды. Ей казалась неудобной его привычка ждать, пока она не поможет настоящему Вите взять книгу, ручку, очки.

Влюбленные занялись сексом через неделю после первой встречи. Витя лежал на полу, Надя раздвоилась в постели. Смещенный юноша яростно совокупился с дубликатом. Через пару месяцев у второй Нади начал расти живот. Витя лелеял и холлил подругу, следил за сквозняком, носился по городу в поисках редких витаминов, покорно выполнял любые прихоти порядком потяжелевшей пассии, старался поддерживать в ней бодрое настроение, ставил классическую музыку и с трепетом ощущал: ребенок слышит и толкается в матке.

Надя завистливо поглядывала на беременную копию, у самой живот не рос. Неистово мечталось испытать материнство, но дала себе твердый зарок не сходить с тоталитарным миром. Роды Витя принимал лично (не везти же в больницу воображаемую девушку воображаемой девушки). Дочь назвали Катей. Она была здоровым румяным голубоглазым младенцем и так сильно всколыхнула Витин отцовский инстинкт, что парень забросил все дела и принялся носиться по магазинам за памперсами, сосками, смесями (стал разбираться в них, как многодетный папаша), терпел длинные очереди на молочную кухню, вечерами стоял над кроваткой и напевал выдуманные колыбельные, не морщился от пронзительного плача и умилялся, когда, устав реветь, кроха засыпала у него на груди.

О Наде, всецело поглощенный новыми впечатлениями, вспоминал редко и вскоре заметил, что жены (была свадебная церемония и даже довольно расплывчатое путешествие в Египет) больше не существует. Но это не смутило Витю и не заставило лихорадочно напрягать воображение в попытках вернуть бывшую — пестовать и лелеять дочь оказалось значительно интереснее.

«Легенду», что мама уехала ухаживать за далекой бабушкой, девочка приняла спокойно. Катя росла послушной, доброй, отзывчивой на чужое горе, любила белых крыс, жалела бездомных щенят, восхищалась цирковыми акробатами и ночными машинами. Игрушек у нее завелось невообразимое количество, хотя она редко играла, предпочитая телевизор. Любимой программой были концерты классической музыки по каналу «Культура». Витя понимал, что это диковинное увлечение для пятилетней, но не удивлялся, не паниковал, напротив, гордился и прочил чаду великое будущее. Росла она без эксцессов, капризов, переломов. Переболела ветрянкой, корью, ангиной, к простудам быстро приобрела иммунитет и зимой, когда отец лежал в испарине, деловито меняла холодные тряпки на его лбу и строго говорила: «Без шапки гулял, сам виноват. Лечись, меня слушайся».

На шестилетие к ней пришли четыре воображаемые Витей подружки. В тот день дочь была особенно возбуждена и счастлива, носилась по комнатам с розовой лентой в волосах, декламировала Хармса, водила хоровод с девочками. Отец суетился на кухне, нарезал пышный торт, разливал апельсиновый сок в прозрачные бокалы. Вечером Катя отпросилась проводить подружек (жили в соседнем доме). Она не вернулась через час и через два, а когда Витя ринулся к вымышленным родителям подруг, то узнал, что дочери у них нет. Обшарил деревянные домики на площадке, заглянул в темные закоулки, обыскал соседние дворы — безрезультатно. Во внезапно охватившем ужасе стал забегать в подъезды и гулко звать ее. Девочка не вернулась и завтра, и послезавтра. Лихорадочные розыски и опрос вымышленных людей не принесли плодов. Витя поклялся отыскать дочь, чего бы это ему ни стоило, и с утра до позднего вечера бродил по городу, вглядываясь в вымышленных детей. В отчаянии подумывал о самоубийстве, но решил, что пока жив, есть возможность вернуть Катю или хотя бы узнать о судьбе пропавшей дочери. Случайно среди детских вещей обнаружился серый конверт и в нем текст следующего содержания:

Твою дочь похитил я. Выкупа не нужно. Но знай, что она у меня, и ты ее никогда не увидишь.

Антон Рубинштейн

Он перечитывал записку тысячи раз, искал скрытый смысл, глядел на просвет, проверяя на зашифрованное послание, мучительно раздумывал над тем, кто такой этот Рубинштейн, но все старания были напрасны. Девочка пропала бесследно.

Через два года тщетных поисков Витя впал в глубочайшую депрессию и, дабы не сойти с ума от одиночества и любви, снова изменил видение реальности. Он помыслил весь мир и себя с перспективы воображения исчезнувшей воображаемой дочери. Пусть она проникнет в каждую молекулу действительности и таким образом постоянно будет рядом. Не столь важно, где Катя находится, главное, что видение ее дарит рассветы, и закаты, и промельки небесных огней, и биение сердец, и затейливую игру разума.

В странной эйфории забвения прошло несколько месяцев, и Витя с тревогой понял: тоталитаризм мира настиг его через его же воображение. Если он сам не свободен в опыте мышления, а марионеткой проступает сквозь разум придуманного существа, значит, битва безоговорочно проиграна. Со страшным усилием Витя освободился от наложенных на себя ограничений и заново пересобрал реальность. Отказавшись от полета фантазии и даже от смещений, он установил каждую вещь на надлежащее ей место (как он помнил). Юноша полностью согласился с изначальной схемой материального мира и теперь видел, слышал и чувствовал так же, как другие люди. Разница между восприятием Вити и остальных заключалась в том, что для всех мир был дан свыше и тоталитарен, а он выстроил его сам, по памяти, и стоял над ним, великодушно позволяя явлениям течь и событиям происходить.

Отменив дочь, он сумел сохранить подлинное «я», свой дух, свое достоинство перед лицом неумолимой непреложности сущего и надолго обрел твердую уверенность в собственной правоте. Прошли годы. Витя достиг места старшего управляющего переводческой компанией и вел комфортную холостяцкую жизнь, периодически бывая во Франции у отца (мать скончалась от сердечного приступа).

Во время одной из таких поездок он шел по бульвару Осман, ярко освещенному солнцем. День стоял замечательный. Перистые облака скользили по нестерпимой голубизне; тройка воробьев вырывала друг у друга кусок хрустящей булки; вдалеке мчались золоченые кареты; нарядные господа в бархатных фраках и дамы в бальных платьях важно вышагивали по мостовой. Разноцветная афиша на заборе гласила:

Спешите! Спешите! Спешите! Только  
в субботу в 6 часов и только 18 октября  
уникальный концерт  
гениального русского пианиста  
Антон Рубинштейна!

Фамилия показалась смутно знакомой, он перебрал в голове все возможные места, где мог встречать или слышать этого музыканта, но ничего не вспомнил и механически решил завернуть и послушать (может быть, его рекомендовала знакомая меломанка).

Ложки были полны, зал бешено рукоплескал. Когда невысокого роста, пухлый человек вальяжно поклонился и сел перед инструментом, установилась мертвая тишина. Его руки, как бабочки, запорхали над клавишами, и полилась бодрая, чистая мелодия. С удовольствием послушав шопеновский полонез, Витя похлопал и приготовился к новой вещи. Однако ничего не происходило. Музыкант сидел непод-

видно, безвольно свесив руки вдоль туловища и пустыми глазами смотрел прямо перед собой. Так продолжалось пять минут, десять, пятнадцать. Когда нетерпеливый Витя готов был покинуть заведение, Рубинштейн резко повернулся и уставился на него. Мужчина увидел странно засасывающие и зловеще пустые глаза, он впал в оцепенение и на мгновение потерял сознание, а когда пришел в себя, перед ним распахнулся зрительный зал, полный благородных господ. «Играй!» — прошептал в голове чей-то голос, и он заиграл так, как никогда не играл в жизни.

## НАБОКОВЩИНА

«Набоков, свет моей жизни, огонь моих мыслей. На-бо-ков: кончик языка совершает шагок вниз по небу, чтобы толкнуться о десну», — такими приблизительно словами начиналась бы биография одного из тех представителей русской интеллигенции, которые настолько зарепортовались в своем внутреннем мире, в его призрачной сердцевине, что не могут и дня прожить без того, чтобы не разыграть на темной стороне снулого бытия, бытия подспудного, но ведь снулого, драматический конфликт в лице единственной, зато чрезвычайно мыслящей стороны: пока мыслится, пока берется в расчет полумгла пыльной кухни, где расквакался рукомойник и, с налету пересекая строгую границу тени, об ажурную вуаль абажура бьется тупенькая мушка — мушка ли или левая мыслишка, запутанная в плотный тулуп баснословных слов, пока, грандиозно вышагивая, измеряя квадратуру тоски, он мечется, как то же насекомое, но с пытливым, с горделивым, с палеонтологической (антология полетов) душой, изъязвленной не сомнением уже, не воздушными ямами жизни, откуда выцарапать невозможно, а только единственным острием нечаянного счастья, бессмысленного отчаяния: постановка драмы по требованию, неотвратимый конец пути, и тяжелая обложка книги бытия прихлопывает возбужденного бога: влажное пятно на обоях. Я все тебе прощу, Зина! — вышептывал он в кухне, когда шелестел листопад, он, возбужденный куда более шелестящими бдениями, открывал наобум роман и наотмашь читал: как бил (брезгливо счищал беличьей кисточкой, но пятно мрачнело) и гугнивое эхо пускало паутины на потолке, так гасло невнятное озарение и призрачность существования кичилась голым из широких прорех мероздания, ибо мира не обнаружено там, где война личин и наличностей; а то брался за лаковый корешок и вытанцовывал книгу в ладонь из дикой тьмы сгустившихся времен: набрать полную грудь драгоценного и дрожащего, такого прозрачного и со светлой слезой, не выпускать зарницу, преображенным лепетать о тайне, только ему отпертой единожды и навсегда, сквозь наслоения мразоты и казарм; были и другие: Гоголь с неуловимым носом, медлительный Тургенев, стремительный Белый, никто, никто; свет бил, словно из окна безжалостно возлюбленной, из ночного фонаря у гнилостной каталажки, такой свет, которым хотелось дышать и наливаться, и без усталости хохотать, так, увидев жирную саранчу, хохочет кузнецик, так хохочет (на самом деле — плачет) палач в раю, так бледные новостройки хохочут перед лепниной облачных дворцов; нелепица, с другой стороны, — но какая тоска! Скотившись с человекника, расправить крылья, и вот эту строчку пронести на трепещущих ладонях в серое, и опять наобум читать названия на лаковых корешках. Когда же началось... помнится, витало в воздухе, сухая дева с ледяными глазами, куцая роспись, розоватый томик Лолиты с бесстыдно оборванным предисловием, но об этом не знал, и страница, тайком прочитанная на уроке, и тонкие намеки товарища, комната, постель, вздох, заоконная синева не знает, а он уже знал все: свершилось; закончив буквально за день, ринулся перечитывать, другие

книги не разочаровали, напротив, Лолита была тенью того, что алым цветом раскрывалось в «Даре» или «Лужине»; и бормоча вызубренное начало второй главы, брести по переулкам осенним, там и сям картины пошлые, банальные — белиберда замусоренных строк, коренастые кретины подворотен, бульжные аллитерации; под расписку о невылете отпущен на поруки дубков и лиственниц; но, в сущности, совершенно нечего делать, читать прочитанное, бродить в библиотечных коридорах, вздрагивая от волнения, если знакомое имя на обложке или в оглавлении, не то в именном указателе; и все кончалось моментально; приходилось ворошить вороха старых журналов, но какое это было чудовищное счастье выудить из пустоты переписку с Х. или У., хвостик лекций, бракадабру филологических разборов, словно написанную парнокопытным в гомерическом приступе любви к людям, а всего страшнее — новые публикации. Волшебника одолел в один присест, присев между партией и полкой, покамест стучатала на машинке мышиная девица, и солнечный ветер играл с блестящими поверхностями; вырвать у остолопа газету с топорными причастиями и выдавшими виды эпитетами — читай! Да куда там, в мертвенном равнодушии поведут секунду зрячим носом над строчками, и в сторону; удивительно глухи к Набокову оказались не только близкие, но и дальние: триллион отговорок, кипа оправданий, сытый улиточный сумрак, когда прямо в глаза сияет; и это нестерпимое, разрывающее поперх заскоружлого, привычного; он решительно не мог взять в толк, отчего все в нем дрожит от слепых наплываний бессмертной музыки, отчего беспорядочные комбинации черного и белого сплетаются в невыносимый рай, отчего он захлебывается слезами, отчего сестра — дебелая, старая — и брезгует, и скучает; но больше всего поражало несоответствие реальности и подлинной красоты. Если невозможно свести два мира (в первом эльфы и демоны, лунные пятна на садовых скамейках, прелестные махаоны, стальные стрелки башенных часов, и шулерство пожилых арлекинов, и поджарые псы, и апельсиновая корка заката, и большой яркий рот, и гениальные нищие, и каждая, каждая деталь достойна славы, и пальбы из тысячи «катюш»; во втором — клошары и калоши, газеты и газеты, хриплый кашель, сильный ветер, бесчестие тяжелой работы, бессонница, волос в супе, невидимый разврат, серые сумерки, смешки, хмурые разговоры, и каждая минута приближает последнее унижение), если нельзя совместить, то выбирать и нечего, решил он и, упоенный слогом, насыщенный фантастическими арками и цветниками стиля, отказал миру филистеров в полноценном существовании: поблекли самодовольные хамы, подернулся пленкой убогий язык подворотен, оцепенели в замершем времени истерические студентки (медленно, с третьего раза подбирался к пятому курсу), и над всем — выше и плотнее всего, бездарно выдающего себя за реальность, — Набоков, то молодой в шегольском кашне, то зрелый с легкой улыбкой и усталыми всезнающими глазами, то пожилой: и тут дробление — молодцеватый с сачком и глянецвый в пенсне (отдаленные раскаты невралгии). Так уютно было карабкаться по переводам Барабтарло, на салазках вдохновения скатываться по томам Носика, улепетывать от зловещих призраков Александрова; а вот начались ночные бдения с чужим языком (впрочем, оный так и остался чужим, но ведь было!), когда голова пухла, как бумажный сверток в гастрономии, куда опускали еще, еще конфет; непостижимость оригинала в редкие, но от этого необыкновенно ценные минуты интонационно совпадала с грубоватым пересказом толмача, и, хохоча от восторга, он пересекал пустой холл до черного прямоугольника двери, за которым пестрела влажная, душная, вороватая ночь, и, все тем же потрясенный, возвращался на узкий диванчик и вслух читал наобумные места, с надрывом нежности, растворяясь в певучей неясности. Особое наслаждение давали рецензии хрестоматийных болванов, отзывы эмигрантских завистников, неспособных оценить, понять... вот

это небо с птицей у блеклой последней пелены, за которой мрачно и грозно блещит звездная изморось; россыпь алмазов в сказочной пещере, веселый сон великана — везде заводным болванничкам мерещились пустословие и циничная игра, ах, как уморительно смешны, восклицал и хватал наугад и снова вслух, наслаждаясь каждой цезурой.

Десять лет обычной человеческой жизни испещряли кошмары сбывшихся сновидений, бойко катилась речевая тарабарщина, ширились и сужались неудачи, то вспыхивали дешевые откровения в продуктовом, то невероятной ясностью сквозили обещания очередного угрюмого правителя; а там, а там, в зачарованном дворце, не было ничего, никого, кроме великой музыки, заглушившей и грохот моторов, и звон стаканов, и бешеные вопли передовиц. Сверстники стремглав переженились, обзавелись воющими детьми и отчаянно рвали жилы на дядю, пока он один, не узнанный в толпе таких же точно красновидных молодцев, оказался подвластен тайне, искусства ли, колдовства, не все ли равно; сердобольная матушка первые годы прямо посылала работать, но вскоре отстала, сдалась, ибо, редко выходя из сияющего дворца, все-таки выходил и, разрывая каменное молчание, произносил все те же непонятные, но убедительные речи (какими орудовал часто после отчисления).

И вот каждый вершок биографии Набокова исследован досконально, до оскомины, каждая строчка не раз прочтена, отдельные стихотворные строфы еще плавают в полусне воображения, разжигая конфликт между болью и мольбой, между ослепительной яркостью чистого творчества и крошечной тьмой грязного быта, — но той остроты, альпийской свежести, больше не существует; не в один день, но исподволь, спрехвала, так, может быть, оглох Бетховен, так учатся умирать старики; и беспощадно лезли на ум измышления клеветников, и он видел в парче гниль и уродливые проплешины в роскошной шевелюре короля, и ужас состоял не в том, что видел, а в том, с каким безразличием, не умея, не желая поймать ту самую мелодию, какая еще недавно быстрой ижицей взрезала взволнованную душу, листал потрепанные томики. Опустел старый двор, бог-иллюзионист вынес за кулисы ненужный реквизит: золотые звезды, дурацкий колпак, спящего ребенка; по-новому оглядев вот эту восставшую от сладостного обморока жизнь, он решил, что, «в сущности, одинок» и «меняться поздно», ибо стена, которую с помощью Набокова возводил вокруг себя всю жизнь, получилась на славу.

## ТРАФАРЕТ

*Памяти Эрнестаса Карникласа*

Очевидцы свидетельствуют, что 18 ноября 1993 года семнадцатилетний Алик Алуханов вышел из ресторана «История» в самом довольном расположении духа. Юноша решил «прогуляться» по осенним бульварам, «подышать свежим воздухом», «полюбоваться закатными красками», и вот тут-то все и началось. На перекрестке Бумазейной и Таврической молодого человека угораздило посмотреть на новенький плакат, где утром находилась реклама сотовой связи билайна — загорелая девица натягивала на глаза полосатую спортивную шапку, справа сияла крупная надпись: «Всегда с тобой». Теперь вместо привычного слогана значилось: «Смерть Смерть Смерть». Он пожал плечами и перевел взгляд на бетонный забор, обклеенный цветными афишами, анонсами цирковых выступлений. Изображения по-прежнему ярко пестрели, но вместо броских лозунгов было жирно набрано: «смерть смерть смерть смерть...»

Подумав о веселом пранке, Алик растерянно огляделся в поисках скрытой камеры или подозрительных личностей, но улица была пуста, не считая тучной старухи с тележкой и большой лохматой черной собаки. Взволнованный юноша пошел дальше.

«Отовсюду, с каждого рекламного стенда, с огромных полотен на торцах домов, со стеклянных витрин тарачилось: „смерть“. Вместо названий магазинов и киосков, почтовых отделений и автобусных остановок, единожды набранное крупным шрифтом или многократно оттиснутое мелким — везде выступало мрачное и бессмысленное: „смерть“».

«Я привлек внимание постового, надеясь, что служитель порядка объяснит, почему все городские надписи заменили одной нелепой, но тот посчитал меня чокнутым и в грубых выражениях посоветовал обратиться в Кашенко».

Мать Алика, Надежда Константиновна, так описывает его возвращение в тот злополучный день:

«Я смотрела телевизор. Алик пришел внезапно, не поздоровался и убежал в свою комнату. Я зашла туда вечером, сын плакал, на коленях у него лежал роман Сологуба „Мелкий бес“. Он попросил: мама, прочти. Я недоуменно прочла вслух отрывок. У Алика началась истерика. Сын кричал: „Перестань меня дурить, признайся, тут написано «смерть смерть смерть»“.

Температуры у мальчика не было, однако он казался таким странным, что я встревожилась и вызвала терапевта. Тот поговорил с Аликом пять минут и порекомендовал положить ребенка в больницу».

Местный психиатр, всесторонне исследовав больного, отбросил мысль о шизофрении или помрачении рассудка, напротив, он был убежден, что Алик действительно видит слово «смерть» там, где остальные замечают бодрые слоганы, вывески и объявления. Доктор связался со столичными коллегами, и выяснилось, что за последнее полгода зафиксировано несколько подобных случаев. Больные наблюдаются в особой питерской клинике, чьи специалисты глубоко изучили это заболевание и знают, как его лечить.

Так молодой человек попал в Областную психоневрологическую клинику имени Товстоногова.

Мы, обеспокоенные состоянием Алика, встретились с заведующим клиники, доктором медицинских наук профессором Александром Лукьяненко и попросили дать пояснения по поводу произошедшего.

— *Здравствуйте, Александр Иванович! Многие наши читатели интересуются здоровьем Алуханова. Галина Тимофеевна Вязова, пенсионерка из села Малые Кукушки, написала в редакцию письмо, в котором слезно умоляет сообщить, «жив Алик али не жив».*

— Жив! Так и передайте. На днях поправится. Трепанация черепа прошла без осложнений, трафарет извлечен лично мной.

— *Не все знают, что такое «трафарет». Расскажите, пожалуйста.*

— Конкретный механизм работы этого новообразования пока не поддается инструментарию современных исследователей. Медицина впервые столкнулась с чем-то подобным. Может быть, в будущем удастся проникнуть глубже в его природу, пока скажу только, что это микроскопический клочок бумаги с вырезанными буквами С М Е Р Т Ь. Он был у всех больных в мозговых долях, ответственных за распознавание текстовой информации, и накладывался на видимые слова, скрывая исходное сообщение.

— *Сергей Федотов из города Тюмень спрашивает: «А этот трафарет самозарождается в мозгу или вносится извне?»*

— Хороший вопрос. Предполагаю, вносится злоумышленниками через ухо. Есть косвенные признаки, указывающие на искусственное происхождение.

— *Имеются ли негативные последствия у прооперированных?*

— После всех процедур восприятие нормализуется. Головных болей, потери памяти у пациентов нет.

— *Большое спасибо за уделенное время!*

И мы отправились дальше. Путь вел через тенистые аллеи и залитые солнцем людные площади. Мы спускались по узким лестницам, пересекали пустынные переулки и шумные шоссе, мы отчаянно торопились, потому что капитан милиции Анатолий Валерьевич Брызгалов, любезно согласившийся прояснить ситуацию, ждать бы не стал.

Остроносый, спокойный, как скала, капитан сидел в кабинете и внимательно изучал протоколы. Убийцы, воры, насильники, правонарушители всех мастей были у него как на ладони. При нашем появлении он коротко поздоровался и безотлагательно приступил к делу.

— Вокруг трафаретов творится форменное безобразие! Домыслы, сплетни, досужие байки растут лавиной. Нужно немедленно развеять ложь! Диктофоны включены?

Получив утвердительный ответ, Анатолий Валерьевич повел рассказ:

— Жизнь у меня, прямо скажу, не сладкая. Убийцы, воры, насильники, правонарушители всех мастей — вот с кем приходится сталкиваться ежечасно. Они врут, изворачиваются, изобретают тысячи уловок, но в конце концов к самому хитроумному негодяю находится ключик. Однако банда трафаретчиков стала сложнейшим случаем в моей практике. В этой папке пятнадцать уголовных дел, — трясет увесистой папкой, — и только тщательно изучив каждое, я увидел между ними связь. На первый взгляд кажется, в беду попали совсем разные люди. Вот Братчикова Людмила, пятьдесят восемь лет, санитарка из Брянска. А вот Артем Стариков, одиннадцать лет, московский пятиклассник. Вот Илья Горохов, известный в Тюмени диджей, девятнадцать лет. Вот Аннабель Дэй, двадцатилетняя английская студентка, приехавшая по обмену в Екатеринбург. Казалось бы, ничего их не связывает. Однако читаю дальше: «18 ноября 1993 года Алик Алуханов вышел из ресторана „История“ в отличном расположении духа и обнаружил изменения в текстах, расклеенных по городу». «31 марта Илья Горохов, плотно отобедав в бистро „Фрейя“, обнаружил изменения в текстах, расклеенных по городу». «15 июня Аннабель Дэй вышла из кафетерия „Карамель“, где ужинала с молодым человеком, и обнаружила изменения в текстах, расклеенных по городу». Продолжать? Думаю, не надо. Восприятие изменилось у граждан после посещения ими забегаловок. Скорей всего, преступники там и поджидают жертв, подумал я и отправил запросы в администрацию заведений. Записи с видеокамер дали потрясающие результаты. Выяснилось, что к заражению причастны официанты. В замедленном воспроизведении хорошо видно, как подавальщик, проходя мимо жертвы, делает рукой быстрое волнообразное движение. Клиент впадает в нечто вроде краткого транса, и злоумышленник проводит ладонью над его ухом.

Схожие инциденты в остальных заведениях со всей неопровержимостью доказали правоту моей рабочей гипотезы. Дело осталось за малым — поймать преступников с поличным. Мы установили наблюдение за «Историей». В результате операции под кодовым названием «половой» удалось схватить официанта на месте преступления. Мужчина, по документам Григорьев Сергей Геннадьевич, сотрудничать со следствием отказался. Он вызывающе молчал и вел себя совершенно невозмутимо, даже когда к нему применялись жесткие методы допроса. Медик, осмотревший обвиняемого, обескуражил сотрудников следственного отдела утверждением,

что говорить Сергей не может по причине врожденного отсутствия голосовых связок. И совсем невероятным стало открытие дежурного лейтенанта, который потребовал, чтобы заключенный облачился в тюремную робу. Тот принялся одеваться, не сняв предварительно форменной одежды, на замечание не отреагировал. Полицейский попытался стянуть с заключенного перчатки и дернул их с такой силой, что они слегка разошлись по шву. «Григорьев изменился в лице, будто испытывал острые болевые ощущения. На месте разрыва обильно выступила кровь, — докладывал дежурный, — врачебный осмотр показал, что парадное облачение является его своеобразной кожей».

Заинтригованный до крайности, я лично навестил Григорьева и ряд других пойманных к тому времени официантов. Подтвердились все фантастические допущения: кожный покров заключенных расслаивался на плотное сукно коричневого цвета, напоминавшее фракный пиджак, и внутреннюю белую шкуру в виде жилета, с костяными наростами — пуговицами. Из горла официантов торчал упругий хрящ — галстук-бабочка. Говорить арестанты не могли, более того, за пределами ресторанов теряли ориентацию в пространстве и не обнаруживали признаков разумных существ. Следственный эксперимент продемонстрировал, что стоит вернуть их в привычное окружение, как они автоматически возвращаются к своим обязанностям. Сведений об их близких и родственниках не найдено, ночевали твари на работе, в подсобном помещении.

Я навестил администратора ресторана «История» и попросил дать пояснения по поводу Григорьева.

— Сергей пришел по объявлению. На нем был идеальный фрак. Соискатель подкупал внешним видом и целеустремленностью. Я понял, что он отлично подойдет для должности и, не перемолвившись с ним ни единым словом, взял. Он безукоризненно выполнял работу. Кто бы мог подумать, что вот так обернется... Когда разгорелась истерия по поводу официантов, я лично перепроверил наших. Большинство были нормальными людьми, могли нахамить посетителю, плюнуть в блюдо, соблазнить красавицу. Трое спали в подсобке и отличались невероятной собранностью. Никогда не болели, не опаздывали, не роняли заказы. Я заметил, что Павел Р. постоянно ходит с подносом. Уже тогда это вызывало вопросы. Сейчас очевидно, что поднос был частью его ладоней и состоял из тонких сплюснутых костей, обтянутых кожей. В результате секретной операции под кодовым названием «Половой» удалось выяснить, что треть официантов в большинстве заведений Российской Федерации не являются людьми, а представляют собой странных существ, словно сотворенных для того, чтобы выполнять обязанности подавальщиков. Было неясно, откуда создания приходят, как устроены на физиологическом уровне, нуждаются ли в пище и отдыхе, несомненно одно: они кардинально отличаются от людей. Профессор питерского университета биолог Игорь Долгих написал пространную статью о том, что «Дарвин, безусловно, был прав, когда возводил генезис человечества к эволюции обезьян. Однако он не учел того ныне достоверного факта, что наряду с нашей обезьяноподобной расой на планете развивалось другое человечество, ведущее род от иного предка. Теперь можно с уверенностью сказать, что этой загадочной расой были официанты, древним предком — пингвины. В самом деле, даже неофит заметит несомненное сходство между официантом в долгополом фраке и элегантно морской птицей. Эта близость сделалась общим местом в массовой культуре. Известные литераторы нередко прибегали к морским метафорам в описании официантов. Гоголь в «Мертвых душах» косвенно намекал на старинного пращура:

*«Половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу».*

Мы не знаем, что происходит у них в голове, нам недоступны их цели и тайные побуждения. Неизвестно, обладают ли они разумом. И если обладают, то, во всяком случае, он кардинально отличается от нашего.

Зачем они помещают в мозг человека микроскопические трафареты? Хотят выйти на контакт? Предостеречь? Наказать? Ответ на эти вопросы был невозможен, пока литовский исследователь Эрнестас Карпиклас не совершил знаменитое путешествие в Антарктику в обществе официанта и пары расторопных помощников. Он всего лишь хотел реализовать «идею, явившуюся мне ранним утром на границе между явью и сновидением: столкнуть нос к носу прародителя и потомка. <...> ...Корабль застыл в безграничном сверкании. Я спустился по трапу и вдалеке, у кромки океана, заметил неподвижные черные точки пингвинов. Официант во время путешествия выглядел разбитым и вялым, но вдохнул ледяной воздух полюса и преобразился: глаза горели, фигура выражала готовность действовать, кулаки сжимались и разжимались. Я переглянулся со старпомом и решил выпустить нашего спутника. Он тотчас помчался к пингвинам, мы едва успевали за ним. Достигнув назначения, официант буквально врезался в стаю птиц, весь подергивался, совершал волнообразные движения руками, ногами и всем телом и, главное, молниеносно проводил ладонью над их слуховыми отверстиями <...> Эксперимент Карпикласа показал, что пингвины, инфицированные трафаретами, становятся единообразными в действиях и уверенно перемещаются в направлении некоей цели, словно «только сейчас научились ориентироваться в пространстве, а прежде, как слепые, копошились во мраке».

Американский зоолог Феликс Найман считает, что слово «смерть», компульсивно внедряемое официантами, изначально предназначалось для пингвинов. Строение птичьего мозга на глубинном уровне отличается от человеческого. «Смерть» не воспринималась птицами с содержательной стороны, сами очертания слова достраивали пространственное восприятие, неполное от природы. Они постоянно видели в небе, в море, в телах друг друга дыры: «С», «М», «Е», «Р», «Т» «Ъ». Подавальщики, дополняя изображение реальности введением трафарета, образовывали вместе с ними своеобразный симбиотический организм. Карпиклас пишет: «Как только официант закончил, он рухнул в сверкающую ледяную пыль и больше не подавал признаков жизни. Пингвины сгруппировались и быстро вертели головками, жадно разглядывая бесконечные дали. У меня возникло впечатление, будто они только что прозрели и воспринимают мир таким, каким он по-настоящему является. Но вот кажется, они уверенно шагают в направлении некоей цели.

*Добавлено пять минут спустя:*

Они движутся в нашу сторону.